

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Из заветной рукописи



ОХОТА

Павел КАДОЧНИКОВ

Обычно охотники собирались с вечера в нашем старом доме. До предзакатной поры они ели пельмени. Это были здоровые, крахмальные бородастые мужики, деловитые, немногословные. Особенно хорошо мне помнится друг отца Гайныша. Он мне казался главным охотником. Может быть, это так и было...

Гайныша знал, что где лежит в нашем доме. Он приносил из чулана на могучих своих плечах мешок, наполненный заранее приготовленными морожеными пельменями, и ставил его в сенях у двери. Мама большими порциями закладывала их в чугунок с кипящей водой и заталкивала в огромный рот русской печки. Когда пельмени были готовы, она шумовкой доставала их из чугуна и наполняла ими деревянные миски, а Гайныша расставлял их перед охотниками. Охотники «по скусу» заливали пельмени красным уксусом, сдабривали перцем, и начиналось насыщение. Упаси бог, если кто-то тайно или явно позволял себе выпить или принести с собой спиртное. Такого стрелка отец сразу же отправлял «до дому, до хаты». Или молча, до отвалу, распуская пояса. Потом пили чай из пузатого самовара — до пота, с полотенцами. Так делалось всегда, потому что потом, на номерах во время загона, перекусить времени уже не было.

Мы с братом очень любили смотреть с полатей на все эти приготовления, я же не спускал глаз с Гайныши. Мне казалось, что он был сделан из неокороженного дуба. Будто взял кто-то топор и вырубил человека, а потом сказал: «Живи, богатырь...» Вдоволь нахлопотавшись, Гайныша садился на лавку, пододвигал к себе огромную миску, наполненную дымчатыми пельменями, и говорил: «Моя теперь маленько ашать будет...» (ашать — по-татарски есть). «Ашал» Гайныша с завидным аппетитом: миски три, а то и больше горячих пельменей проваливались в Гайнышу так быстро, что даже хорошо знавшие его охотники начинали балагурить, добродушно ухмыляясь.

— Нелегко, видать, бабе твоей прокормить тл, медведице?

Все громко смеются, а Гайныша громче всех, блестя белоснежными зубами.

Когда через замороженные окна начинал брезжить рассвет, во дворе и у ворот собирались загонщики. Многие ждали прямо в розвальнях, запряженных маленькими лохматыми лошаденками.

Загонщикам платили не очень много, примерно столько, сколько платят сейчас за участие в массовых сценах на съемках. Тем не менее их собиралось до шестидесяти человек — и молодых, и старых. Большие всего было школьников: в воскресный день была возможность заработать на карандаши и тетрадки... Промысловые загоны были в этих краях не так уж часты. Нам доставляло неизъяснимое наслаждение пробираться сквозь чащу леса, по пузо утопать в сугробах, трещать специальной загонной трещеткой, гамить в тихом лесу, будить его от сна и ощущать свою полезность в серьезном деле.

Еще больше мы с братом Николаем любили, когда отец брал нас «с ночевой» рыбачить на другую сторону Бикбардинского пруда в паргу.

Надо сказать, что слово «парга» имеет свою довольно забавную историю. Когда-то помещику Аносову было угодно поставить на речке Бикбардинке мельницу, для чего и была сооружена плотина с вершинами. На плотине длиною более версты были посажены липы. Речка Бикбардинка остановилась, разлилась вишрь, затопила луг, добралась до возвышенности, густо заросшей пихтами, и превратилась в красивое озеро протяженностью в четыре версты и полторы версты в ширину. В девственном пихтовом лесу Аносов разбил парк, прорезал аллею, поставил беседки, на берегу построил купальню. По озеру катались на лодках и даже на яхтах. Для бикбардинцев слово «парк», видимо, было коротким, непонятным и трудно произносимым, поэтому они стали произносить его — «парга». Прошли годы, аллея заросла, беседки сгнили, о купальне напоминали только позеленевшие сваи, а слово «парга» осталось. Сейчас почти никто и не знает, почему эта часть пихтового леса так называется.

На заходе солнца, когда озеро превращается в рубиновую гладь, мы оставляли у берега парги свою плоскодонку, разводили костер, ели душистую уху из нескольких сортов рыбы... Потом отец укладывал

Немногие знают, что у известного киноактера Павла Петровича Кадочникова есть тайная страсть: ящики письменного стола его ленинградской квартиры плотно набиты тетрадками, листами бумаги, исписанными от руки или с текстами, отпечатанными на машинке. Еще с довоенного времени Павел Петрович ведет дневник, пишет для себя рассказы, новеллы, в которых повествует о событиях, людях, оставивших яркий след в памяти. Пишет он и о природе, тонко улавливая в ней красоту, поэзию, что он усвоил, по собственному его признанию, от отца, Петра Никифоровича. Видеть, воспринимать окружающий мир он «учился» и у матери, Агриппины Ивановны, которая была человеком колоритным, острым на язык, с цепким глазом. «Просто так слова не скажет, — вспоминает Павел Петрович, — что ни слово — то образ».

Новый год начинается для Павла Петровича Кадочникова новой работой. Скоро как режиссер-постановщик он приступает к съемкам фильма по собственному сценарию. Пока условное название картины, действие которой происходит в первые послевоенные годы, — «В любовь надо верить». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей рассказ Павла Кадочникова о детстве, которое прошло в уральском селе Бинбарда.

нас на толстый войлок, разостланный на нарезанном камыше, накрывал тулупом, и мы блаженно засыпали. Пока шли приготовления к ужину и сну, велась неторопливая беседа, потрескивал костер, отблески пламени играли на могучих ветках пихтача, где-то в камышах глухо стонала выпь...

— Пап, а пап... — шепчет брат, — слышишь, как души усопших стонут...

— Чево? — удивленно вскинув брови, откликается отец. Он даже рыбу перестал чистить. — Кто, говоришь, стонет?

— Бабушка Тарутина сказывала, что когда красные с колчаковцами бились, дык многие без покаяния похоронены...

Отец весело хохочет, гладит брата по стриженной голове.

— Выпь это стонет, глупый, выпь! — говорит он. — Птица такая болотная есть... Ночью-то ей одной тоскливо в камышах сидеть, вот она и зовет к себе товарищей...

Утро отец всегда встречал стихами Никитина. Это был своеобразный ритуал. Мы с братом еще пожевывались под тулупом от утреннего холода у потухшего костра, а отец уже стоял на пне и читал стихи, неторопливо, задумчиво, проникая в самую суть их души:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается,

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается.

Полуоткрыв рты, затаив дыхание, мы слушали... Нам казалось, что отец по утрам на некоторое время превращается в доброго волшебника. Ведь все, о чем он так складно говорит, сбывается на наших глазах... «Дремлет чуткий камыш. Тишь, безлюдье вокруг. Чуть приметна тропинка росистая...» И мы с Кольей, откинув тулуп, уже сидим на войлоке, обхватив колени, и ждем, когда он скажет: «Пронесли утки с шумом и скрылись...» И они действительно пронеслись. «Далеко-далеко колокольчик звенит, рыбаки в шалаше пробудились!...» Теперь отец смотрит на нас, глаза его смеются, он дочитывает стихотворение до конца:

Не боли ты, душа, отдохни от забот.

Здравствуй, солнце да утро веселое!

«Здравствуй! Здравствуй!» — вопим мы, быстро срываемся с места и, не сговариваясь, бежим к позеленевшим сваям бывшей купальни умыться.

— Апать будете, бесеняты?

— Ёк! — отвечаем мы по-татарски.

— Ну тогда пожитки в лодку, и айда шук с жерлиц снимать да «морды» трясти, небось, линей в них понатыкалось за ночь-то...

И вот мы уже в густых зарослях шумящего камыша. Отец с трудом вытаскивает за кол «морду», сплетенную из ивовых прутьев, которая похожа на большую бутылку или чернильницу-непроливайку. Он держит ее у борта лодки, пока не стечет вода. Чуть ли не половина «морды» забита трепещущей рыбой. «У-ух, сколько!» — толкая друг друга, спешим вытащить из горловины «морды» соломенную пробку и — в лодку валяться, играя на солнце, золотые, будто полированные линии, сверкает серебром сорога... Мне очень хочется взять в руки скользкого лinya, но удержать его невозможно...

— Не трогай, Палька! Недосуг баловаться, — серьезно говорит брат, — нам еще три штуки вытащить надо, да еще шук снимать...

Я с неохотой оставляю в покое лinya. Отец направляет плоскодонку через камыши к следующему колу и говорит: «А ну, Павлик, повторай за мной: на речке мы лениво налим ловили, для меня вы ловили лinya, о любви не меня ли вы нежно молили...» Я путаюсь в скороговорке, вместо «налима» говорю «малина», отец и брат весело хохочут, хохочу и я...

Может быть, окутанные дымкой времени картинки моего детства кому-то не покажутся столь значительными, чтобы их воскрешать. Для меня же они являют собой нечто такое, что приоткрыло мне двери в мир прекрасного. И если я в какой-то мере понял не только разумом, но и сердцем, что такое восходы и заходы солнца, нежный шепот камышей и свист ветра, что такое «вологодские кружева», брошенные морозом на окна, и для чего человеку необходимы стихи, то обязан я этим моему отцу, носившему в себе удивительный мир художника.